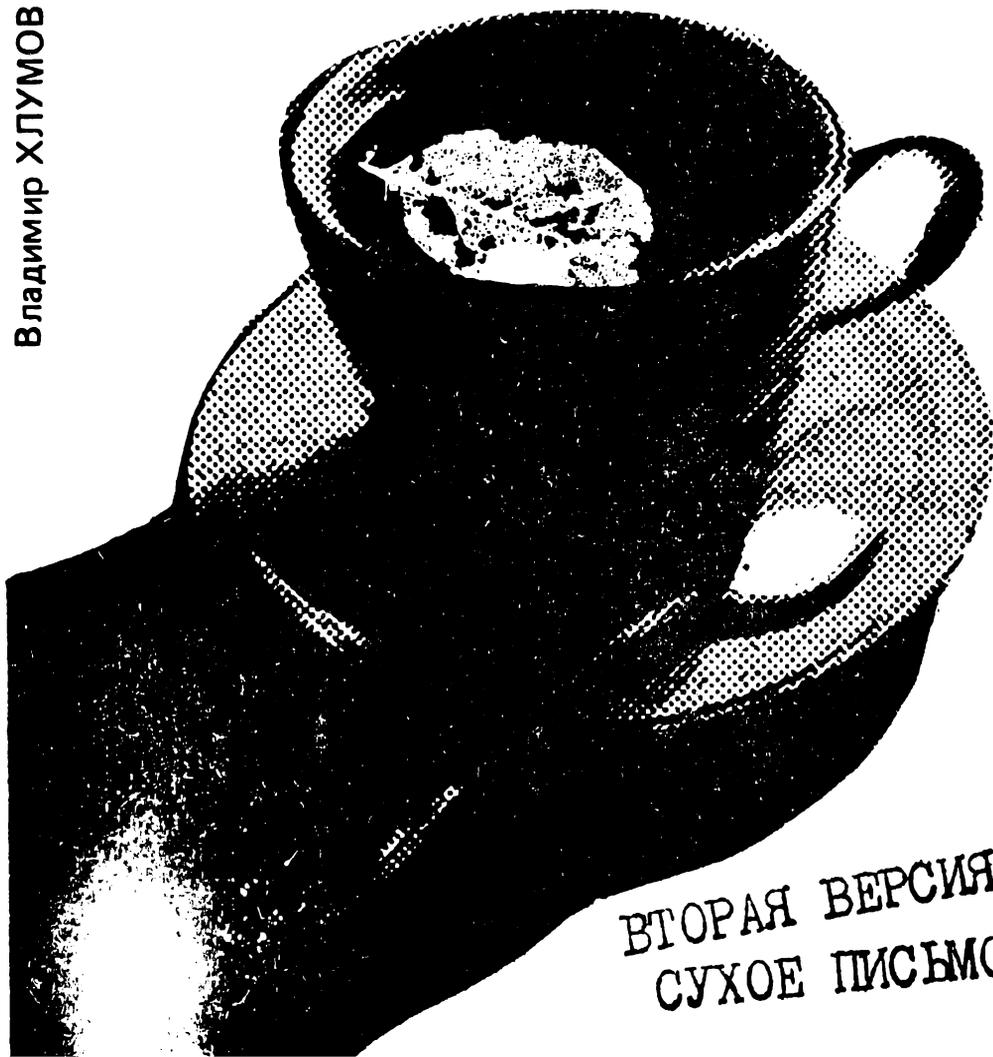


Фантакрим

ФАНТАСТИКА
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕТЕКТИВ

micro

Владимир ШИТИК
Владимир ХЛУМОВ



ВТОРАЯ ВЕРСИЯ
СУХОЕ ПИСЬМО

ББК 84Р7-4

Ш 98

Шитик В. Н.

Вторая версия. Детективный рассказ.

Хлумов В. М.

Сухое письмо. Рассказ.

«Фантаkrim-микро». — М.: Прометей,
1989. — 32 с.

Издание подготовлено при участии литературно-издательского агентства «Эхо».

Рассказ известного белорусского фантаста и детективиста В. Шитика относится к жанру психологического детектива. На вечернем шоссе погибает под колесами мотоцикла человек. Услышав о его гибели, начальник районной автоинспекции Лапков... расстроился. Расстроился и почувствовал свою вину...

Рассказ москвича В. Хлумова, писателя-фантаста, почти документален. Это письмо двенадцатилетнего мальчика, написанное им перед самоубийством, датированное мартом 1953 года и адресованное «врагу народа»...

Ш $\frac{4702010201-277}{183(2)-89}$ без объявл.

С Издательство «Прометей» МГПИ имени
В. И. Ленина, 1989.

ВТОРАЯ ВЕРСИЯ

В небольших городках все знают друг друга. Услышав о гибели Грибовского, Лапков расстроился. Они не были близко знакомы, но этот человек ему нравился. Наверное, открытым, дружелюбным лицом. Встречаясь, Лапков всегда старался кивнуть ему в знак приветствия первым.

Смерть сама по себе ужасна. Нелепая, трагическая — тем более. Грибовский попал под мотоцикл, перебегая дорогу.

Возможно, не будь он начальником районной автоинспекции, Лапков, жалея о симпатичном ему человеке, не принял бы этот случай так близко к сердцу. А теперь он чувствовал словно бы и свою вину, потому что в тот день не был в городе — будто одно его присутствие в райцентре гарантировало от дорожных происшествий, особенно таких.

С утра пораньше Лапков поспешил в отдел. Не то чтобы он не доверял выводам людей, проверявших этот чрезвычайный случай в его отсутствие, просто у него было правило самому знакомиться со всеми деталями, прежде чем выполнить требуемые законом формальности.

Дежуривший лейтенант Корзун удивился его раннему появлению:

— Водители не дают спать?

— Не говори, — посетовал Лапков, — беда с этими любителями. Водить еще как следует не научится, а туда же — жмет на всю катушку. Но-

венькие «Жигули» — в лепешку. Хорошо хоть без жертв. Вон привез вчера груды лома, — кивнул он в сторону окна, выходящего во двор.

— Видел, — ответил лейтенант, — а у нас тут тоже...

— Как это случилось? — нетерпеливо перебил Лапков. — Просто не верится. Кто тут разбирался?

— Я, — пожал плечами Корзун. — Только, собственно, разбираться не в чем. Все яснее ясного. Пьян был Грибовский.

— Не может быть, — оторопел Лапков. Уж очень не вязалось это с его представлением об этом человеке.

Корзун еще раз пожал плечами и пригласил начальника ГАИ к себе. Достав из сейфа документы, подал Лапкову.

В тоненькой папке все было в полном порядке. Протокол осмотра места происшествия, объяснения сидевшего за рулем мотоцикла Симанькова и находившегося на заднем сидении Панфиловича, заключение врача городской больницы, которое свидетельствовало, что Грибовский действительно был нетрезв и умер, не приходя в сознание, — сомнения не вызывали.

Лапков знал и Симанькова, и Панфиловича. Оба работали на базе грузчиками. В тот день, как явствовало из их объяснений, они после работы засиделись у сторожа базы Трацевского — играли в домино. Сторож подтвердил это. Окончили игру поздно, было уже темно. Сели на мотоцикл, Симаньков включил свет — дорога выглядела пустынной. И они поехали. Скорость была небольшой, километров пятьдесят. Грибовский выскочил на шоссе неожиданно. На обочине остался след резко

свернувшего вправо мотоцикла. И не вина водителя, что не удалось избежать столкновения.

Лапков закрыл папку и вздохнул. Корзун скрупулезно провел расследование. Казалось, и он, начальник ГАИ, с чистой совестью может подписаться под сделанными выводами.

— Ты не думай, — по-своему понял его молчание Корзун, — они правильно повели себя. Симаньков положил Грибовского в коляску и повез в больницу, а Панфилов остался следы сторожить, чтобы случаем не затерла проходящая машина.

Все это Лапков только что прочитал в материалах, собранных лейтенантом, поэтому поторопился кивнуть:

— К тебе претензий нет.

Корзун довольно улыбнулся и предложил:

— Можешь осмотреть мотоцикл, он у нас.

Лапков знал этот «ИЖ», как, наверное, знал все автотохозяйство района. Хороший, мощный мотоцикл Симанькова по выносливости и скорости не уступал его, инспекторскому. Симаньков даже, как поговаривали, в начале лета умудрялся на нем по триста килограммов огурцов отвозить на ленинградские базары, а это не меньше тысячи километров. И хотя такого количества собственных огурцов в ту пору у Симанькова наверняка еще не было и скупал он их у соседей, на это никто особого внимания не обращал. Район их был огуречный, огурцы выращивал едва ли не каждый второй житель городка, потому как-то считалось, что даже перекупщик совсем не спекулянт, а просто добрый человек, выручающий соседей в сбыте зеленой продукции.

Осматривая «ИЖ», Лапков думал, что только напрасно тратит время. Все, что можно было добыть при таком осмотре, Корзун и его помощники

уже получили. Мотоцикл был почти без повреждений, вмятин на нем не осталось. И это также свидетельствовало об умеренной скорости в момент наезда. Более того, кое-что даже говорило в пользу Симанькова и Панфиловича: свидетелей происшествия не было, а они и не попытались скрыться. Лапков совсем не надеялся найти что-то, упущенное коллегам. Однако в результате этого происшествия погиб человек, и Лапков все топтался возле мотоцикла.

Конечно, оказись Лапков на месте сразу же, возможно, увидел бы что-то такое, что ускользнуло от внимания оперативной группы. Как-никак в подобных делах у него был немалый опыт. Но вряд ли это существенно повлияло бы на окончательные выводы. В главном Корзун, похоже, не ошибся. К тому же пострадавший был пьян, а это в любом случае в корне меняло взгляд на дело.

Все же столкновение сказалось — руль мотоцикла немного разболтался. Впрочем, и это отражено в протоколе. Корзун был точен, разве что не упомянул о хорошей реакции Панфиловича — тот сумел вовремя ухватиться за скобу и удержался в седле, второй седок обычно в подобных ситуациях вылетает через голову водителя. Но и это существа вопроса не касается. Просто размышления. Панфилович тут ни при чем.

Думая о своем, Лапков откинул полог, заглянул в коляску. Она была пыльной, замусоренной, будто в ней с самого лета никто не сидел. Лапков тряхнул устилавший дно люльки плетеный коврик, и на свет выкатилось несколько крупных пшеничных зерен. Подумал было: откуда они здесь? Однако вспомнил, что хозяин всегда ставил мотоцикл во дворе базы, неподалеку от разгрузочной площадки, и ветер вполне мог занести зерна в ко-

ляску. Впрочем, это также не имело отношения к делу.

Возвращаясь в отдел, Лапков встретил в коридоре Симанькова.

— А я к вам, товарищ начальник, — сказал тот, — хочу своего коня забрать. Привык, знаете...

Лапков взглянул Симанькову в лицо. Он ожидал увидеть смятение, внутреннюю боль, отчаяние — все то, что, по его мнению, должен испытывать человек, пусть даже косвенно, но виноватый в чьей-то гибели. Симаньков выглядел спокойным, и только глаза глядели как-то заискивающе-просительно, словно его больше всего волновало в этот момент, сразу отдадут мотоцикл или повремят. Лапков вдруг почувствовал, как в нем поднимается неприязнь к Симанькову. Чтобы не дать ей вырваться, он отвернулся и через плечо бросил:

— Закончим — отдадим.

Ему почему-то очень захотелось увидеть, как отреагирует на это Симаньков, но он сдержался, не оборачиваясь, поспешил в кабинет Корзуна.

— Ну, как там? — все же тревожась за свои выводы, поинтересовался лейтенант.

— Все правильно, — успокоил его Лапков, чувствуя невесть откуда появившуюся досаду, как будто его больше обрадовало бы, если бы, наоборот, не все было в порядке.

Лейтенант заметил его настроение, напрямик спросил:

— Ты что, недоволен?

Так же прямо Лапков ответил:

— Сам не пойму. — И, помедлив, добавил: — Надо бы на место происшествия съездить...

Корзун недоуменно взглянул на него, напомнил:

— Вчера дождь был.

Начальник автоинспекции согласно кивнул, подождет, не скажет ли Корзун еще чего-нибудь, и вышел.

Лапков понимал, что ничего нового не увидит и на месте гибели Грибовского. Дорога там была бойкая, машины ходили часто, да и дождь прошел сильный. Но он знал за собой эту черту, за которую в районе его прозвали формалистом и которую он сам считал отнюдь не слабостью, а достоинством — в делах никогда и никому не верить на слово. Пусть выводы совпадут, но пусть это будут и его выводы.

На дороге уже ничто не напоминало о недавней трагедии. От дождя земля раскисла, и на обочине, там, где Грибовский попал под колесо, сейчас были только длинные ребристые следы проехавших телег.

Лапков постоял, пытаясь представить себе, как все происходило в тот вечер. Протокол был подробный. В нем говорилось, что пострадавший появился на дороге слева. Естественно, ехавший со светом Симаньков был уверен, что Грибовский видит его и подождет. Но, видимо, не зря говорят, что пьяному и море по колено. Что для него какое-то там узенькое асфальтовое полотно с мотоциклом! В результате Симаньков не успел затормозить и попробовал взять вправо. И все же на самом краю обочины зацепил Грибовского. Если бы тот упал на мягкую землю, возможно, обошлось бы травмой. Но, на беду, он ударился головой об асфальт.

Лапков оглянулся. Метрах в трехстах справа он разглядел те ворота базы, из которых и выехали Симаньков с Панфиловичем. Грибовский тоже работал на базе. В тот день он ушел с работы вместе со всеми, не задержался. Мог бы, казалось, пой-

ти домой, как всегда, так нет, понесла его нелегкая в темени по пустому полю. Выскочи Грибовский с другой стороны, где на придорожном пустыре стояли дома станционного поселка, это еще можно было бы понять: зашел к кому-то, выпил больше, чем мог. А так... Лапков бросил взгляд на голое серое поле и повернулся к поселку.

Низкое осеннее солнце, опускаясь за дома, слепило глаза. Лапков прищурился и вдруг присвистнул. В засохшем бурьяне что-то блестело. Он перепрыгнул через канаву и увидел бутылку из-под водки. Комочки грязи успели уже засохнуть на стекле, но наклейка была еще свежая, не выцветшая. Лапков покачал головой: неужели это Грибовский кутил тут? И подумал, что вполне вероятно, иначе это весьма странное совпадение, если бутылку здесь бросил кто-то другой.

Лапков вернулся к своему мотоциклу, однако уехал не сразу.

Он не переставал удивляться Грибовскому: такой вроде приличный человек и на тебе, в одиночку, спрятавшись в зарослях бурьяна, выпивает целую бутылку... А если он был не один? Правда, к финалу это отношения не имеет. И все же... Лапков задумался. Ночью Корзун не заметил бутылку и потому не подумал о компаньонах Грибовского, возможных свидетелях трагедии.

Лапков не любил, чтобы в деле оставались вопросы без ответа. Вернувшись в отдел, он направился к Корзуну. Испытывая неловкость оттого, что, словно бы ставит под сомнение результаты проделанной коллегой работы, сказал:

— Давай не будем спешить.

— Что так? — недоумевая, спросил лейтенант. — По-моему, мы ничего не упустили.

— Да нет, — досаду на себя за то, что не мо-

жет внятно изложить сомнения, ответил Лапков. — Надо бы установить, с кем пил Грибовский.

— Разве это так уж важно?

— В общем-то, конечно, нет, — согласился Лапков. — Он взрослый, и никто его не толкнул под колесо. Меня только удивляет, почему собутыльник или собутыльницы не объявились. Человек же погиб.

— А если их не было?

— Вот в этом я и хочу убедиться...

Корзун хорошо знал, что переубедить Лапкова можно только фактами, и без энтузиазма согласился. В своих выводах он был уверен, неприятно было другое: на вопрос, возникший у Лапкова, ответить должен был все же он.

— Ты не беспокойся, — заметив его неудовольствие, сказал начальник автоинспекции. — Это чистая формальность. Да и мысль моя, мне с ней и разбираться.

Лапков был уверен, что установить тех, с кем погибший выпивал в тот вечер, будет нетрудно. Однако уже с самого начала столкнулся с неожиданностью. Директор базы, не тая своего отрицательного отношения к выводам милиции, спросил:

— А ты уверен, что Грибовский был пьян?

— Ну, знаешь, Гаврилович! — растерялся Лапков.

— Знаю, знаю!

— В таких вопросах медицина не хуже нас с тобой разбирается.

Директор вышел из-за стола — большой, плотный, сердито сказал:

— Грибовского я с малых лет знаю, в одну школу бегали. Выпить он, конечно, мог. Только не без причины. И не столько, чтобы потерять голову.

И друзья у него такие же. Вот если бы ты о Симанькове или Панфиловиче... Эти могли бы...

— И мне Грибовский нравился, — примирительно сказал Лапков, — да против фактов не попрешь. Так что назови все же его друзей. Сам понимаешь, — попытался он пошутить, — милиция ни слезам, ни словам не верит.

— Как знаешь, — директор не принял шутки.

Друзья погибшего утверждали, что расстались с Грибовским сразу после работы и направились по домам. Лапков побывал у каждого в доме, вопросы задавал в присутствии жен и детей, и не верить в правдивость ответов не было причины. Смущало одно: Грибовский в тот вечер домой не приходил. Почему — жена не знала и даже не могла понять, как это он вдруг взял да и напился. Не такой он был, да и денег с собой не носил. О деньгах, положим, жена могла и не знать, бывает. Но коль скоро собутыльников не нашлось, вывод напрашивался сам собой: пил один.

Выслушав начальника ГАИ, Корзун заметил:

— Зато ты себя ни в чем не упрекнешь. А что человек напился, так всякое случается.

Они снова внимательно просмотрели те немногие материалы, которые были собраны Корзуном. Все было известно обоим до последней строчки. И Лапков с сожалением отложил перечитанные документы, лишь на медицинской справке вдруг задержался. Долго задумчиво глядел на нее и наконец сказал:

— Ничего не понимаю! Сто пятьдесят—двести граммов. А там была целая бутылка.

— Какая бутылка? — не понял лейтенант.

Лапков рассказал.

— А она при чем? — удивился Корзун. — Бежал Грибовский со стороны поля, а бутылка, как

ты говоришь, — на пустыре, со стороны домов.

— Как, как? — Лапков ошеломленно глядел на товарища. — А я все думаю: что это меня там встревожило? Молодец, лейтенант! Не то, значит, я искал, не то!

Корзун лишь хмыкнул, Лапков удивлял его все больше: неужели мало ему осечки с собутыльниками? Рассудительно посоветовал:

— Оставь ты эту бутылку, мало ли кто ее бросил.

— Не люблю совпадений, есть в них что-то от лукавого. — Больше он ничего не объяснял, сказал только: — Возьму-ка у тебя материалы расследования.

Два дня лейтенант не видел начальника районной автоинспекции, в отделе тот появился лишь к концу третьего дня — возбужденный, забрызганный грязью.

— Ну и видок у тебя, товарищ капитан, — усмехнулся, встретившись с ним в коридоре, Корзун.

— Пришлось помотаться по району, — удовлетворенно сказал Лапков. — Кажется, не зря.

У Корзуна упало сердце: неужели дал промашку? Пряча тревогу, спросил:

— Поделись!

— Пошли ко мне.

В кабинете Лапков, не снимая промокший плащ, потянулся к телефону, набрал номер.

— Дружище эскулап, ты уверен, что Грибовский выпил всего сто пятьдесят—двести граммов?

Трубка что-то заклекотала в ответ, но что именно — Корзун разобрать не смог. Так продолжалось минуто-две, и вдруг Лапков взорвался:

— Что значит «примерно», ты мне точно скажи! А-а, не можешь, не уверен. Возможно, и меньше?

Ну, спасибо и за это. Пришли, однако, официальную справочку. Сегодня же, — он взглянул на часы, разрешил: — Ладно, можешь завтра, но с утра.

— Далась тебе эта доза, не в ней суть, — нахмурился Корзун. Он и впрямь не понимал, чего добивается капитан, и это тревожило.

— Все может быть, все может быть, — рассеянно проговорил Лапков и неожиданно попросил: — Вызови назавтра Симанькова и Панфиловича, к двенадцати часам.

Спросить, зачем, лейтенант постеснялся: с ясным, казалось, делом происходило что-то непонятное.

А капитан продолжал:

— И ты, если не будешь занят, загляни.

Когда назавтра Корзун зашел к Лапкову, Панфилович был уже там. Он сидел напротив хозяина кабинета с обиженным видом, хмурился и ворчливо выговаривал:

— Я уже все рассказал. В бумагах записано. Могли прочесть, а не срывать с работы.

И потому, что Лапков ничего не ответил на это, он напомнил:

— Мне деньги, между прочим, товарищ инспектор, от выработки платят...

Лапков и на это не отреагировал. Не спеша разложил перед собой листки давешних объяснений грузчика, поднял глаза. Несколько секунд изучал Панфиловича, затем спокойно задал вопрос:

— Вы зачем остались на месте происшествия?

От возмущения Панфилович едва не задохнулся. Повернувшись к Корзуну, словно приглашая его в свидетели, зачастил:

— Я двадцать раз объяснял, вот им, — кивнул он в сторону лейтенанта.

— Повторите, я не слышал.

— Пусть, пусть, — Панфилович демонстративно поднес к глазам часы и слово в слово изложил все, что уже говорил раньше.

— В какое время это было? — спросил Лапков, когда он остановился.

— Кто там на часы глядел? — оскалил Панфилович стальные зубы.

— Конечно, конечно, — согласился капитан, — до того ли было. Так я подскажу. Симаньков привез Грибовского в больницу в половине десятого. Дадим ему минут пятнадцать на дорогу, возможно, ехал осторожно. Значит, с четверти десятого и до десяти двадцати, когда прибыла оперативная группа, вы неотлучно находились на месте происшествия?

— Время не помню, а что был — факт, — упрямо произнес Панфилович. — Специально остался, они знают, — снова обратился он за поддержкой к Корзуну.

— А поллитровку вы куда дели?

— Какую? — оторопел было Панфилович, однако сразу взял себя в руки, озлился: — Вы что мне шьете, инспектор?

— Что за жаргон уголовный, — упрекнул Лапков и объяснил: — Ту самую, которую вы в тот день в магазине у продавца Сулковской купили.

— Выпил! — выдохнул Панфилович. — Нельзя, что ли?

— Когда, с кем?

— Сам, вчера...

— Вчера на работе вы были трезвый, значит, выпили позже, так? Проверим, — капитан достал

из ящика стола трубочку, которой обычно проверял на трезвость водителей, предложил Панфиловичу: — Дыхните... Еще... Вот видите, ничего нет. Можно и более сложную экспертизу провести... А-а, вы перепутали, не вчера, позавчера? Проверим и это. Но должен вам сказать: не пили вы ту поллитровку. Ни вчера, ни позавчера, ни раньше. Вы ее недопитой выбросили, вылив сначала остатки. Так?

— Вы что, меня пьяного за рулем поймали? — хрипло, будто у него пересохло в горле, ответил Панфилович.

А Лапков задал новый неожиданный вопрос:

— Где вы были, когда Симаньков повез подбитого?

— Чего вяжетесь! Чего! — сорвался на крик Панфилович. — На дороге стоял, на дороге, следы берег!

— Не все время, Панфилович, не все, по крайней мере, между девятью тридцатью и десятью часами вас там не было. Три машины прошли за это время мимо, и два водителя вас не видели: Качанов, он в десять в гараж приехал, и Буглай— проезжая, последние известия по «Маяку» слушал.

— Могли не заметить, ночь...

— Допускаю, могли. А вот третий вас видел. Как вы тяжелый мешок на базу тащили. Около половины десятого. Что скажете?

Панфилович не ответил, пытался глядеть на Лапкова с вызовом, независимо, но это у него не получалось, подводило нервно подрагивавшее правос веко.

— Лейтенант, — обратился Лапков к Корзуну, — проводите Панфиловича в соседнюю комнату.

Пусть подумает, вспомнит. И позовите Симанькова.

— Что, решили технику вернуть? — сразу с порога пробасил Симаньков.

За несколько лет службы в милиции Лапков успел наглядеться на всяких преступников — и злостных, и случайных. Не всегда они сразу признавались в содеянном, иных приходилось буквально припирать доказательствами к стенке. И он всегда недоумевал, если видел, что виноватый в тяжком преступлении не испытывает угрызений совести, а юлит, выкручивается — будто речь идет о чем-то мелком, несущественном. Он спрашивал себя: откуда берутся такие — и не мог ответить. Вот и сейчас он совсем не понимал Симанькова. Стоит, словно за премией пришел. И оттого, что с каждым мгновением росло в нем отвращение, Лапков медленно, растягивая слова, проговорил:

— Дойдет черед и до мотоцикла. Садитесь, разговор долгий.

— О чем, уважаемый товарищ начальник? — он держался более уверенно, чем его дружок.

Если с Панфиловичем Лапков разговор начал просто, не подчеркивая, что тот в милиции, то Симанькова решил сразу поставить на место:

— По факту наезда на Грибовского возбуждено уголовное дело. Я должен вас допросить официально. Ваши имя, отчество, фамилия?

— Ей-богу, товарищ начальник, больше ни в чем не виноват, — коротким смешком рассыпался Симаньков. — А за Грибовского — отчитался.

Лапков повторил вопрос.

Симаньков снисходительно усмехнулся — мол, воля ваша — и ответил.

Покончив с установочными вопросами, капитан, как бы между прочим, заметил:

— В прошлый раз вы не все нам рассказали.

В глазах Симанькова блеснули холодные искорки, черты лица стали тверже, резче.

Лапков заметил эту перемену и подумал, что его догадка, по-видимому, верна: такой может убить, если станешь на его пути.

— Так вот, о Грибовском. Он что, мешал вам воровать?

— Что-то новое, начальник, — холодно отозвался Симаньков, и ни один мускул не дрогнул на его окаменевшем лице.

— Конечно, новое, потому и вызвали.

— Ну-ну, валяйте, послушаем, — и Симаньков демонстративно развалился на стуле.

— Сядьте нормально, вы не у себя дома, — строго потребовал капитан. — И рассказывайте все, как было. Думаю, вам не нужно напоминать, что добровольное признание смягчает вину...

— А как же, — перебил Симаньков, — во всех кино милиция обещает смягчение. А мне не в чем больше признаваться, вот мое слово!

— Эх, Симаньков, Симаньков, — упрекнул Лапков. — Не темните, советую.

— Разве я не рассказал, разве я вел себя нечестно? — он даже привстал со стула. — Кто видел? Никто! Я мог бы удрать, а я повез человека в больницу. В милицию сам заявил, спросите у доктора.

— Правильно, все это было. Потом. А до того? Что было до того?

— Нехорошо, товарищ начальник, нехорошо, — вдруг сменил тон Симаньков. — Такая борьба с пьянством, а вы пьяницу защищаете.

— Ну что ж, Симаньков, — устало сказал Лапков, — не хотите говорить правду, не надо. Подпишите протокол допроса.

— Я могу идти? — с облегчением спросил Симаньков, поставив подпись.

Капитан отрицательно покачал головой.

— Не захотели рассказывать сами, меня послушайте. Я вам расскажу, как было дело.

— Давайте, давайте, приятные разговоры приятно слушать, — Симаньков почти повторил свою недавнюю реплику, однако былой расхлябанности в его позе уже не было.

— Грибовский давно понял, что вы с Панфиловичем не чисты на руку. В тот день, заметив, что вы остались в сторожке, он заподозрил неладное и решил поймать вас с поличным. Три с лишним часа провел Грибовский на шоссе. Наконец увидел, как отворились ворота и с базы выехал мотоцикл. Ему бы людей позвать... Но он был очень деликатный человек, побоялся, что если ошибается, зря на вас тень бросит. Не учел, с кем имеет дело. Когда вы подъезжали, Грибовский выбежал на дорогу и поднял руку. Заметьте, выбежал с правой стороны, от поселка, а не с левой, как вы с Панфиловичем утверждаете. И вы не пытались избежать столкновения. Ослепленные ненавистью, бросили мотоцикл на человека, который грозил вам разоблачением...

— Интересно излагаете, — возмутился Симаньков. — Однако это все ваши сказки. Кто подтвердит? Выдумка!

— В милиции признают только факты, Симаньков, — Лапков не спешил, он понял, что попал в цель. — Мы не занимаемся выдумками. Дальше слушайте! Грибовский был еще жив, но без созна-

ния. И тут до вас дошло, что за убийство придется отвечать куда серьезнее, чем за мешок зерна. Не знаю, кому первому из вас пришла идея, которая в тот момент показалась спасительной. Чего не знаю, того не знаю. Панфилович достал из кармана приготовленную, видимо, по иному поводу, купленную днем бутылку водки и влил Грибовскому в рот граммов сто пятьдесят. Этого оказалось достаточно, чтобы в желудок попал алкоголь и вы могли утверждать, что пострадавший был пьян. Так?

— Цирк! — бас Симанькова загустел. — На шармачка не пройдет, не то время.

— Ладно о времени, Симаньков, оно не ваше. Тем более, что все было так, как я рассказал. Верно?

— Вранье!

Лапков, словно потеряв всякий интерес к Симанькову, поднялся, выглянул в коридор, позвал дежурного:

— Отведи, пусть подождет, пока я свяжусь с прокурором.

— Ты это серьезно? — забеспокоился Корзун, когда дежурный увел задержанного. — Похоже, на самом деле ничего не докажешь.

Капитан посуровел, заверил:

— Братъ на пушку не имею привычки.

— Но доказательства...

— Доказательства, говоришь?.. Есть они. Слушай! Поехал я на базу, хотел со сторожем поговорить, может, он Грибовского видел. А там у него семенная пшеница в мешках. Как привезли в тот день, так до сих пор не разобрали. Тут меня и тюкнуло: а что, если те зерна, в коляске, из таких мешков? Проверил — так оно и есть. Что ос-

тавалось? Извини, что тебя не привлек к работе. По себе знаю, как трудно на другую версию переключаться, а я спешил, время было против нас. Начал искать водителей — не могло быть, чтобы никто там вечером не проезжал. И нашел. В старосельском колхозе. Видел водитель, как какой-то человек с полным мешком на плечах в проходную базы шмыгнул. С Панфиловичем он не знаком, кто это был, сказать не мог, но время запомнил. Я за сторожа: кто мешок тянул? Юлил-юлил — признался: Панфилович. Ну, думаю, попались ворюги. Рассказал директору, а он мне: «Так это, видимо, их Грибовский имел в виду, когда недавно на собрании пообещал кое-кого вывести на чистую воду». Это меня не на шутку обеспокоило: снова совпадение? Все хозяйства обзвонил — не ехал ли кто-нибудь еще мимо базы в тот вечер? Один, оказывается, ехал — из Заходов. Причем хороший знакомый Грибовского. Увидел его у шоссе, остановился, попросил сигарету. Немного потолковали, и он ускал. Было это немногим позже девяти. Утверждает, Грибовский стоял на шоссе со стороны поселка, причем абсолютно трезвый. Вот и суди...

Лапков задумался, будто еще раз мысленно проверяя себя, затем снова заговорил, мягче:

— Не обижайся, что у тебя прокол вышел. Хуже было бы, если бы преступники вывернулись.

Он подошел к окну, выглянул во двор. Металлолом, оставшийся от недавних «Жигулей», уже вывезли, и под навесом ютился только мотоцикл с коляской. Ему предстояло еще постоять здесь, пока суд не решит судьбу его хозяина, так ловко было пустившего милицию по ложному следу.

Не удалось. Лапков мог бы гордиться собой. Но, странное дело, на этот раз он не чувствовал удовлетворения. Раздумывая над этим, он все стоял у окна, забыв о сидевшем в кабинете Корзуне. И вдруг перед его глазами встал, как живой, Грибовский — приветливый, доброжелательный, молодой, — и тогда Лапков понял, откуда его смятение, — из жизни ушел очень славный, наивный и честный человек.

СУХОЕ ПИСЬМО

«Прочитайте, пожалуйста, и отдайте врагу народа Витольду Яковлевичу, для исправления».

Сегодня вы прочтете мое письмо. С этого дня вы меня уже никогда не забудете, а значит, не забудете и ЕГО. Мне двенадцать лет. Сегодня умер ОН. Я не могу написать ЕГО имени, потому что горе станет нестерпимым, и я сделаю это раньше, чем напишу письмо. А я должен написать его, обязательно должен, чтобы вы не подумали, что мой поступок — каприз мальчика-подростка. Да, эта мысль меня очень мучает и терзает. Я все думаю, как бы вы не решили, что я еще слишком мал и делаю это неосознанно, от испуга, что ли. Не думайте, пожалуйста, так. Я давно повзрослел, я родился в начале войны, а военные дети быстро взрослеют изнутри. Когда я родился, мои папа и мама очень полюбили меня, потому что шла война и мужчин стало не хватать. Нет, не о том. Я перескочил. Рано. Я хочу еще что-нибудь вам о причинах моего поступка сказать, мне все кажется, что вы мне не поверите, что у меня был сознательный план. Плохо, что мне мало лет. Плохо и хорошо. Хорошо, потому что вы меня никогда не забудете, и, значит, не забудете и ЕГО.

Я родился в начале войны, а военные дети быстро взрослеют. Когда я родился, мама сильно обрадовалась, а папа счастливый ушел на фронт. Но я этого, конечно, не помню, а пишу так, чтобы вы могли понять, что я могу догадываться о чувствах

других, даже взрослых людей. Это потому, что я много думал. Поэтому мне не надо все испытать самому, ведь и взрослые правильно судят о многом, чего не видели. Раньше я любил радио, а теперь я ненавижу радио. Мне теперь кажется, что тяжелый магнит вставлен ему внутрь для того, чтобы притягивать злые вести. Хорошо, что я не буду больше никогда слушать злые вести. А говорят, что скоро появится радио, в котором вместо тяжелого магнита будет специальная форточка, через которую будет видно человека, который передает последние известия. Вот здорово. Один мальчик, правда, сказал — я не буду называть его фамилию, пусть ему станет стыдно и он сам признается воспитательнице — этот мальчик сказал, что такое радио с форточкой уже есть у некоторых людей. Конечно, вранье. Потому что ОН не допустил бы такой несправедливости, чтобы что-то у одних уже было, а у других еще не было. Я думаю, что ОН, если бы ЕМУ предложили иметь лично такое радио, конечно бы от него отказался. Потому что это было бы несправедливо. Но, конечно, такое радио обязательно сделают, но счастья у вас полного не будет, потому что не будет ЕГО уже никогда. А я ЕГО видел живым! Но сначала я ЕГО не знал, не знал, что ОН такой.

Когда кончилась война, отец пришел с фронта и меня отправили в детский сад. Это время я помню. Очень помню, потому что мне стыдно за себя. Сейчас, прежде чем я заберусь на табуретку, я должен обязательно признаться в этом. Но не только, чтобы очистить совесть. Моя совесть чиста! И я докажу это делом. Но я должен признаться, чтобы вы лучше поняли мою любовь к НЕМУ. Так вот, было время, мне стыдно за себя и горько, было время — я не любил ЕГО. И не

только не любил, даже не уважал, и даже хуже, гораздо хуже, был момент, когда я ненавидел ЕГО! Вот. Вот и написал. Написал и стал сомневаться, искуплю ли я свою вину, даже если сделаю то, что задумал? Но нет, пусть не думают враги Советской власти, что у меня возникли сомнения. А я знаю, сейчас, в эти страшные дни могут поднять голову ЕГО враги, могут предать ЕГО светлое имя. Так узнайте обо мне, вдумайтесь, прежде чем нападать и разрушать, есть ли у вас такой ребенок, есть ли у вас дети, способные совершить то же, что и я, ради ваших разрушительных идей? Да, был момент — я ненавидел ЕГО. Но ведь вы сами, Витольд Яковлевич, заявляли, что истинная любовь та, что родилась из ненависти, и что истинная вера приходит через неверие. Так что выходит, и с вашей точки зрения, мое детское заблуждение ничего не опровергает.

Когда кончилась война, отец пришел с фронта, и у него на груди был орден. Отец часто садил меня на колени и орденом колот мою щеку. Но я не жаловался, не чувствовал боли, мне наоборот от боли было хорошо и тепло на его коленях сидеть. И я радовался вместе с ним, что кончилась война, и что я есть у него, и что он есть у меня. Очень родители меня любили, но еще больше любили ЕГО. Например, принесут домой хлеба, сядут кушать и обязательно скажут спасибо ЕМУ. Или купят мне обнову и обязательно ЕГО добрым словом помянут. И тут я, несмышленный, позавидовал ЕМУ и стал плохие мысли о НЕМ думать. Мне вдруг горько стало, что родители любят больше меня какого-то чужого человека, и вспоминают ЕГО постоянно, и хвалят ЕГО, хотя ОН совсем никакая нам не родня и никогда даже дома у нас не бывал. Теперь я знаю, что это называется

ревность — проклятый пережиток, злобное пятно, недобитое гражданской войной. Но нехорошие мои чувства вскоре прекратились, потому что не было для них объективных условий.

Кончилась война, и я поступил в детсад. А в детсаде нянечки ласковые, добрые, детишек любят, но еще больше любят большого красивого дядю на портрете. Да так сильно любят, что с утра до вечера вместе с детишками песни благодарности про дяденьку поют. Конечно, мне теперь смешно вспомнить, как я остолбенел, когда понял, что дяденька на портрете и ОН — один и тот же человек. Как же я тогда обрадовался! Что же я, оболтус, завидую ЕМУ и злюсь на папу с мамой, если все люди любят ЕГО больше, чем себя. Вы, Витольд Яковлевич, когда нам про Достоевского рассказывали, несколько раз повторили: все могут любить одного человека, только если он бог, а бога нету. Зачем вы это сказали, Витольд Яковлевич? Нет, видно, не зря вы враг народа, вы думаете, что раз дважды два четыре, вы и правы? Так узнаете же вы скоро, что хоть дважды два четыре, а все-таки я сделаю это. И тут, я думаю, и произойдет ваше перевоспитание. И зачем вы специально Ленина без НЕГО употребляли? Ленин, он только задумал, а сделал ОН, слышите, Витольд Яковлевич! И директор нашего любимого детского дома то же говорил, когда я с ним советовался. Можете с ним поспорить потом. Только раньше, я думаю, вы и сами исправитесь и перевоспитаетесь, потому что правда одна. Слышите, одна! И поэтому я скоро встану на табуретку и спрыгну с нее, чтобы всегда быть вместе с ним в ваших делах и ваших мечтах.

Когда кончилась война, наступил мир. Отец вернулся с войны живым и начал жить с моей мамой,

а меня отдали в детский сад, потому что днем нужно было восстанавливать народное хозяйство. Радостная жизнь началась. А по праздникам и того лучше. Меня отец на руки берет и несет на площадь, где все люди ЕГО благодарят и любят, и там на площади меня ЕМУ показывает. Поднимает высоко над головой меня, выше знамен и бу-мажных цветов, а я от слез не могу разглядеть, где ОН там над Лениным стоит. Испугался я очень, думал, уже пройдем мимо, а я ЕГО не увижу, не сравню с портретом. Кричу отцу — отпусти. Он меня за руки держит, и я слез не могу вытереть, чтобы все увидеть. Вырвался я, вытер глаза и близко, близко ЕГО увидел. Даже испугался вначале. ОН рукой махнул, будто узнал меня, вспомнил про те разговоры, что я с ЕГО портретом вел, будто мы опять одни остались и всю ночь проговорили. Был такой случай. С работы никто за мной не пришел. Одна нянечка и я на весь детский сад. Долго нянечка ждала, все надеялась, что придет кто-нибудь, заберет меня, но никто не пришел, и она сказала, чтобы я ложился спать, а сама пошла домой. А я спать не пошел, а пошел в актовый зал к ЕГО портрету и всю ночь рядом с НИМ просидел. Много о чем я с НИМ переговорил, но это уже наша тайна. И вот на параде ОН знак мне подает, вижу, мол, тебя, малыш, узнал, мол, тебя. И я ЕМУ в ответ машу и кричу во все горло. А кричу потому, что страшно стало. Ведь если ОН меня из всех людей выделил, заметил, значит, думает, что любовь моя намного больше, чем у остальных, а я-то знаю, что другие не меньше моего любят и чтут ЕГО. Мне стыдно стало, что не оправдал я ЕГО догадки, что я ЕГО как бы обманываю и нечестно пользуюсь

ЕГО вниманием. И решил я с того раза непременно любить ЕГО лучше других.

Кончилась война, и меня отдали в детский сад, чтобы я не мешал родителям поднимать от разрухи Родину. Мне было хорошо так жить, потому что каждый вечер родители забирали меня домой, а если они задерживались в учреждении, у меня был тайный разговор в актовом зале. Хорошо, что они иногда оставляли меня на ночь одного — я научился размышлять и самостоятельно любить ЕГО. Да, Витольд Яковлевич, ОН не бог. Бог бес смертен, а ОН сегодня умер. Страшное это слово — скончался. Но я не боюсь смерти. Я могу написать это слово тысячу раз и все равно не изменю своего решения. Если бы я боялся умереть, я бы обходил это слово молчанием теперь, когда осталось мне немного времени жить. Я это знаю по себе. Когда мы с мальчишками курили незаметно папиросы, то при учителях боялись даже произнести слово «курить» или слово «папиросы». Это от того, что мы боялись курить. Но однажды я поговорил с НИМ ночью, и ОН мне сказал, что нехорошо чего-нибудь бояться, и я ЕМУ дал клятву, что никогда не буду трусить, и бросил курить навсегда. Смерть вовсе не страшная, если ты уверен, что она поможет будущим людям. Нужно, чтобы все знали, чем ОН был для меня. Я уверен, и мне не страшно. А вы, Витольд Яковлевич, не были уверены, и потому испугались, когда вас обсудили на дирекции, и после вы перед линейкой праздничную речь произносили и часто ЕГО упоминали. Но я вам не поверил, потому что вы врать совсем не умеете и у вас дергается нижняя губа и подбородок морщится, если вы говорите неправду. А ведь вам смерть не грозила, как людям на войне, вас бы в крайнем случае пере-

воспитали физическим трудом. Но тайное рано или поздно становится явным. Вы любили нас запугивать этим выражением, а сами, наверно, его же и боялись. Зря вы меня жалели и уделяли больше внимания, чем другим. Я потом узнал, вы всем говорили: «Я хочу говорить с тобой как равный с равным». Неужели вы не знаете, что в детдоме не бывает скрытых разговоров.

Когда закончилась Великая Отечественная война, я окончил детский сад и поступил в школу. В школе лучше, чем в детском саду. В школе больше актовъ зал и больше портрет. Я мог издадека ЕГО разглядывать, оставаясь после уроков и дожидаясь, когда за мной придет мама. А папа за мной не приходил, потому что он уехал в длительную командировку. Так мне говорила мама. Я был маленький и верил. Теперь бы я не поверил, потому что писем он нам не писал. Он нас бросил навсегда. Он разлюбил мою маму и однажды ночью уехал от нас на черной машине. Конечно, он разлюбил маму, раз не написал нам ни одного письма. Но тогда я еще не знал этого и часто мечтал у портрета, как вернется из длительной командировки мой папа и снова будет садить меня на колени и колоть меня красным флагом на ордене, как будто только что вернулся с войны. Я был уверен, что он вернется живым и невредимым, потому что нет такой войны, которую мы не смогли бы выиграть, раз у нас есть ОН! Вот настоящая правда, Витольд Яковлевич. Вы говорили, что искусство служит правде, и читали свои жалостливые стихи. А в школе я учил другие стихи, настоящие, стихи о НЕМ. Эти стихи написали наши самые лучшие и самые честные поэты, и поэтому их напечатали в учебнике на первой стра-

нице. Я выучил эти стихи с первого раза и лучше всех прочел в классе. Даже наша учительница плакала и хвалила ЕГО. Спасибо им всем, и поэтам, и учителям, благодаря им я понял, что если потребуется, нам не жалко отдать жизнь ради НЕГО. Только мама почему-то не плакала, когда я прочел стих. Видно, она так часто плакала по отцу, что слез на стихи у нее уже не хватало. И зачем она так много плакала о нем?

Когда кончилась в нашей стране война, папа уехал от нас на черной машине, а мы переехали на новую квартиру. Мне теперь стало веселее жить, потому что в нашей новой квартире кроме меня было еще трое мальчиков и две девочки. Только мама моя стала еще грустнее и все прислушивалась по ночам, если по коридору кто-то проходил. Бедная, она все ждала папу. Она его любила больше, чем меня, однажды уехала к нему в длительную командировку. Она говорила, что обязательно вернется вместе с папой, она просила, чтобы я их ждал и не искал себе новых папу и маму. И добрые дяди, которые помогли маме собраться в длительную командировку, успокоили меня и отвезли на легковушке в детский дом, который окончательно меня воспитал. У меня ничего не осталось от моего дома. Даже фотки нет ни одной. Мне сказали, бери, чего хочешь, и поехали. Я полез в чулан и достал старый дедовский ремень с железной бляхой. На этом ремне мой дед в гражданскую носил огромный маузер. Так я и остался с этим кожаным ремнем. Я не буду жаловаться, как мне было обидно, но для правды скажу, что я начал по ночам много плакать. И теперь стал, как мама, прислушиваться, не идет ли кто за мной. Но прошло три года, а она не вернулась, и я понял,

что меня все обманули, все-все, кроме НЕГО. Только ОН все время был со мной, только ОН один не уезжал от меня надолго, только ОН меня не предал, не променял. Во всех учебниках ОН был на первой странице, ведь ОН не только наш вождь, но и самый большой ученый. ОН глядел на меня, чуть прищурившись, добрыми глазами, и будто говорил: «Ничего, малыш, держись, я с тобой». Спасибо нашим художникам за такие добрые картины. Я тоже люблю рисовать, когда (это слово было тщательно зачеркнуто) если бы вырос, я бы точно стал художником. Ничего, надо кончать письмо, а то скоро вечерняя поверка и могут меня хватиться. Сегодня, когда объявили по радио, что ОН умер, все заплакали. Заплакал директор, заплакали воспитатели, заплакали ученики, и вы наверняка, Витольд Яковлевич, заплакали, но я не плакал. Я знаю, что слезы ничего изменить не могут. Конечно, не могут. Уж если они мне не вернули маму, папу, то как же они могут вернуть ЕГО? Люди плачут, потому что им жалко себя. Они боятся жить без того, кто умер. Но я не буду жить, так зачем же мне плакать?

Да, Витольд Яковлевич, теперь уж вы поймете, кем ОН был для нас. Теперь — это когда узнаете обо мне. Сейчас я допишу письмо, и заберусь на табуретку, и прыгну с нее навсегда. Мне радостно оттого, что не зря я прожил свою жизнь. Я умру за НЕГО, а значит, за наше великое дело. Эх, Витольд Яковлевич, вы утверждали, что нельзя замучивать даже одного маленького ребенка ради счастливой жизни. Вы хотели этим очернить наше дело, очернить ЕГО. Вы намекали на невинных кулацких и барских детишек. Ну, а разве несправедливым может быть дело, если ради него один мальчик сознательно, нарочно умирает, а?

Хорошо, что я не обменял свой дедовский ремень на финку. С финкой самому не справиться.

Ну вот, самое трудное сделал. Прочтите мое письмо и отдайте потом Витольду Яковлевичу. Я умираю навсегда. Я знаю, вам станет жалко меня. Но не надо жалеть меня, потому что я самый счастливый на свете человек. Я умираю за НЕГО и вместе с НИМ».

Когда мы его сняли, я нашла это письмо и незаметно спрятала в карман. Потом я много раз перечитывала эти строки, написанные ровным детским почерком. Он очень старался, чтобы все было понятно. Только две фиолетовые кляксы, вот и вся небрежность. Несколько размытых пятен — это следы моих слез, а вначале письмо было совсем сухое... Чем дальше в прошлое уходит тот день, тем тяжелее давит на меня письмо моего ученика. Когда я узнала, что Витольда Яковлевича давно уже нет, он скончался в лагере под Пермью в 1952 году, я хотела сжечь письмо. Но не смогла. А когда я узнала, что его родители тоже погибли, я решила, что письмо его должны прочесть все.

ЦЕНА 30 коп.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Шитик. Вторая версия. Перевод с белорусского автора	3
В. Хлумов. Сухое письмо	22

Литературно-художественное издание
(Фантакрим-микро. Фантастика, приключения,
детектив)

Владимир ШИТИК

ВТОРАЯ ВЕРСИЯ

Детективный рассказ

Владимир ХЛУМОВ

СУХОЕ ПИСЬМО

Рассказ

Составление выпусков «Фантакрим-микро» —
М. И. Андрюшкин

Редактор выпуска И. А. Боровская

Оформление и художественное редактирование —
С. В. Баленок

Координатор выпуска Д. В. Крымов

Сдано в набор 5.9.89.
Формат 84 x 108¹/₆₄
Печать высокая.
Уч.-изд. л. 1,3

Подписано в печать 2.10.89.
АТ 10768. Бумага кн—журн.
Гарнитура литературная.
Усл. печ. л. 0,84 Заказ 2736.
Тираж 105.000 экз.

Издательство «Прометей» МГПИ имени В. И. Ленина,
119048, Москва, ул. Усачева, 64.

Набрано и отпечатано в типографии Управления де-
лами Совета Министров БССР, 220010, Минск, ул. Совет-
ская, 11.